



Владимир Кожедеев

**Загадка  
Зимнего  
дворца**

Исторические детективы

Владимир Кожедеев

**Загадка Зимнего дворца**

«Автор»

2026

## **Кожедеев В.**

Загадка Зимнего дворца / В. Кожедеев — «Автор»,  
2026 — (Исторические детективы)

Санкт-Петербург, 1860 год. Столица Российской империи, город роскошных дворцов и грязных трущоб, великосветских интриг и кровавых преступлений. Здесь каждый день совершаются убийства, и только немногие из них получают огласку. Титулярный советник Алексей Петрович Загорский — человек с трудной судьбой и безупречной репутацией. Бывший гвардейский офицер, прошедший Крымскую войну, потерявший на ней невесту, а после — и родителей, он находит свое призвание в сыскальной полиции. Его методы не всегда нравятся начальству, но результаты говорят сами за себя. Когда при загадочных обстоятельствах убивают купца Толмачева, а на месте преступления находят обгоревший чертеж паровой машины, Загорский берется за расследование, которое приведет его к раскрытию международного заговора. В деле замешаны высокопоставленные лица, иностранные разведки, и даже собственная семья сыщика хранит тайны, способные погубить его. На пути его таинственный убийца по Шмидт — человек с пустыми глазами и мертвой душой...

© Кожедеев В., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

Пролог. В котором сгорают чертежи, а дождь смывает следы.	5
Глава 1. В которой пристав Горохового участка теряет аппетит, а титулярный советник Загорский приобретает головную боль.	7
Глава 2. В которой титулярный советник обедает, подслушивает и делает неожиданные выводы.	10
Глава 3. В которой титулярный советник посещает вдову, находит странный предмет и встречает старого знакомого.	13
Глава 4. В которой титулярный советник вспоминает прошлое и находит в нем ключ к настоящему.	19
Глава 5. В которой молодая вдова получает странное письмо, а старый ростовщик вспоминает прошлое.	24
Конец ознакомительного фрагмента.	29

# Владимир Кожедеев

## Загадка Зимнего дворца

### Пролог. В котором сгорают чертежи, а дождь смывает следы.

26 октября 1860 года, Санкт-Петербург.

Васильевский остров, линия 5-я.

Октябрь в тот год выдался гнилой. Дождь хлестал по гранитным набережным третью седмицу, не переставая, и казалось, сама Нева, вздувшаяся и свинцовая, пытается вытолкнуть город обратно в болото, из которого его подняли. Вода просачивалась сквозь щели булыжных мостовых, заливалась в подворотни, капала с водосточных труб, создавая тот особый, петербургский, непрекращающийся шум – не стук, а всхлип.

В такую погоду даже лихачи прятались под кожаные фартуки пролеток, а городовые жались к стенам, пряча красные от холода носы в воротники шинелей. Честные люди сидели по домам, слушая завывания ветра в печных трубах, и только крайняя нужда могла выгнать человека на улицу.

Или крайнее отчаяние.

Или крайняя подлость.

В доме купца 2-й гильдии Толмачева, что стоял в глубине двора-колодца на 5-й линии, было тихо. Тишина эта стояла в кабинете хозяина уже третий час. Толмачев, дородный мужчина с бакенбардами, которые носил еще при покойном императоре Николае, сидел в кожаном кресле не двигаясь. Он не слышал, как ветер бьет ставнями, как кухарка внизу гремит посудой. Он слышал только стук собственного сердца – тяжелый, неровный, как молот по наковальне.

Перед ним на массивном столе, залитом чернилами и воском от свечей, лежала синяя папка. Обычная папка из плотной бумаги, перевязанная бечевкой. Но Толмачев смотрел на неё так, словно там была не бумага, а туго свернувшаяся гадюка.

Там были чертежи. Проект паровой машины для «Общества Нижегородской водной системы». Той самой, что должна была перевернуть всё речное дело. Машина конструкции инженера Штукенберга, обещавшая небывалую экономию угля. Толмачев выкупил эти чертежи у вдовы мелкого чиновника, который служил переписчиком в технической конторе. За сущие копейки. А теперь понимал, что они стоят ему жизни.

– Черт бы побрал эту механику, – прошептал он, проводя ладонью по вспотевшему лицу.

Проблема была не в чертежах. Проблема была в том, что вчера, когда он показывал их возможному компаньону, англичанину из Балтийского завода, тот, мешая русские и английские слова, вдруг спросил: «А мистер Толмачев, откуда у вас это? Говорят, у немца Штукенберга украли оригиналы?»

Украли. Это слово било набатом в голове купца. Он не воровал. Он купил. Но кто поверит? Полиция? Суд? Акционеры «Общества»? Они сгноят его в тюрьме, отберут лавки, дом. Или того хуже – наймут молодцов, которые тихо выведут его в один из таких вот дождливых вечеров во двор и приставят нож к печени, чтобы просто забрать папку и забыть о свидетеле.

Надо было избавляться от чертежей. Сжечь. Немедленно. Но рука не поднималась. В них был шанс. Шанс войти в элиту, в настоящее купечество, строить заводы, а не торговать скобяным товаром. Жадность и страх боролись в его груди, раздирая душу на части.

Он решился. Резко встал, задел ногой медную плевательницу, подошел к камину, где тлели, потрескивая, сырые березовые дрова. Разворошил угли кочергой. Жар полыхнул в лицо, осветив на миг его искаженное лицо.

– Господи, прости, – перекрестился он и разорвал бечевку.

В этот момент в прихожей резко, надрывно залаяла собака. Цепной кобель, дворняга Полкан, которого Толмачев держал для охраны амбаров. Лай тут же перешел в визг, а затем резко оборвался. Наступила тишина, более зловещая, чем прежняя.

Кровь отхлынула от лица купца. Кочерга со звоном выпала из рук на каминную решетку. Он стоял, не в силах пошевелиться, глядя на дверь кабинета. Замок щелкнул не сразу. Сначала послышался скрежет – тонкий, металлический. Потом щелчок.

Дверь медленно отворилась.

На пороге стоял человек. С его длинного, не по моде, пальто стекала вода, образуя на паркете темную лужицу. Лицо его скрывала тень от широкополой шляпы, но Толмачев успел заметить бледные, почти женские руки, которые он не прятал в карманы. В одной руке был зажат револьвер.

– Господин Толмачев, – голос у вошедшего оказался неожиданно тихим, даже вежливым, с легким, едва уловимым акцентом. – Не стоит кричать. Ваши люди спят. Я пришел за тем, что принадлежит мне по праву.

Толмачев попятился к столу, нащупывая спиной папку с чертежами.

– К-кто вы? – выдавил он из пересохшего горла.

Человек шагнул вперед, и свет от камина упал на его лицо. Это был молодой человек, с тонкими, аристократичными чертами, которые портил холодный, мертвый блеск глаз. Глаза смотрели не на Толмачева, а сквозь него, на папку.

– Я тот, у кого вы украли эту вещь. Точнее, украли у человека, которому я служу. Проект, сударь, это не просто бумага. Это судьбы. Судьбы людей, заводов, пароходств. А судьбами шутить нельзя. Особенно с теми, кто... как бы это сказать... стоит над схваткой.

– Я заплачу! – заторопился Толмачев, хватая папку и протягивая её, как щит. – Берите! Берите и уходите! Я никому не скажу!

Незнакомец усмехнулся. Усмешка вышла кривой, неживой.

– Опоздали, батюшка. Вы уже показали их англичанину. Вы уже пустили слух. Вы уже нарушили течение. А течение надо восстанавливать. Такова цена.

Он поднял револьвер. Толмачев зажмурился, прижимая папку к груди, будто она могла защитить от пули. Раздался выстрел. Сухой, резкий, похожий на треск лопнувшей струны. Купец мешком осел на пол, выронив чертежи, которые веером рассыпались по паркету, испачканному сажей и кровью.

Человек в пальто неторопливо подошел, перешагнув через тело. Он собрал листы, тщательно сложил их в стопку. Затем, словно вспомнив о чем-то важном, поднял с пола свечной огарок и бросил его в груды бумаг, оставшихся на столе – счета, письма, векселя. Огонь лениво лизнул край промокательной бумаги и весело побежал дальше, пожирая следы чужой жизни.

– Заметано, – тихо произнес незнакомец, пряча чертежи под пальто.

Через минуту его фигура растворилась в пелене дождя, выходя из подворотни на пустынную линию. Вдали, у моста, тускло горел фонарь, разбивая тьму на тысячу дождевых искр. Город спал, укутанный сыростью, не ведая, что в одном из его бесчисленных дворов только что погасла еще одна человеческая жизнь, и тлеет огонь, которому суждено разгореться в большое пламя.

А дождь всё лил. Он смывал следы, стучал по крышам и был единственным свидетелем, который никогда не говорит.

## Глава 1. В которой пристав Горохового участка теряет аппетит, а титулярный советник Загорский приобретает головную боль.

27 октября 1860 года, утро.

Санкт-Петербург, Гороховая улица, часть 2-я.

Утро выдалось не лучше вчерашнего вечера – серое, мокрое, с изморосью, которая проникла, казалось, сквозь стены. Пристав Горохового участка, надворный советник Вахрамеев, сидел в своем кабинете с видом человека, которого жизнь уже не раз била по голове мокрой тряпкой, но сегодня решила добить окончательно.

Перед ним на столе лежал рапорт околоточного. Прочитав его в третий раз, Вахрамеев крикнул, полез в карман сюртука за платком, громко высморкался и устался на визитера, застывшего у порога.

– Значит, говоришь, купец Толмачев? Тот самый, что с лавками на Садовой?

– Так точно, ваше высокоблагородие, – бодро отрапортовал молодой околоточный с рыжими усами, топорщившимися, как у кота. – Собственной персоной. Лежит в кабинете. С пулей в груди. А вокруг – головешки. Пожар, стало быть, был, да сам погас, дождем залило.

– Пожар, – задумчиво повторил Вахрамеев. – Сам погас. А купец, значит, сам застрелился и сам поджегся? Красиво. Мне таких покойников дюжину в год представляют, и все – самоубийцы с поджогом в придачу. Ты бы, мил друг, еще написал, что он в ту же минуту в гробу лежать начал.

Околоточный обиженно замолчал. Вахрамеев вздохнул. Дело было паршивое. Купец второй гильдии – это не пропойца из ночлежки. Это жалобы, это купеческое общество, это, в конце концов, газетчики, которые мигом раздуют сенсацию: «Таинственное убийство на Васильевском! Полиция бессильна!»

– Кто нашел? – спросил он, массируя переносицу.

– Дворник, ваше высокоблагородие. Утром пошел дрова носить, глядь – дверь в кабинет приотворена, а оттуда гарью тянет. Ну, заглянул... и обмер. Собака еще во дворе мертвая лежит, цепная. Горло перерезано. Аккурат так, от уха до уха.

Вахрамеев поморщился. Это уже пахло работой профессионала. Не простой грабеж.

– А чертежи? – вдруг спросил он, сам не зная почему.

– Чего-с?

– Чертежи, говорю, бумаги какие-нибудь важные? У купцов всегда векселя, закладные. Сгорели?

Околоточный замялся.

– Так точно, бумаг много сгорело. В камине – куча пепла. А на столе, где огонь гулял, все черным-черно. Но... мы, ваше высокоблагородие, пока ждали вашего распоряжения, осмотрелись. В углу, под столом, бумажка одна валялась. Не сгорела. Чудом, видать, вылетела.

Он полез за пазуху и протянул приставу мятый, опаленный по краям листок.

Вахрамеев надел очки в серебряной оправе, приблизил бумагу к близоруким глазам. Это был клочок чертежа. Тушь, линейка, циркуль. Какая-то шестеренка, поршень, обозначения на немецком языке. В углу – размытая печать и надпись, выведенная каллиграфическим почерком: «Собственность Технической конторы Штукенберга и К°».

– Штукенберг, – медленно проговорил Вахрамеев. – Немец. Инженер. Слышал я что-то... – Он поднял глаза на околоточного. – В доме обыск провели?

– Никак нет. Ждали вас.

– И правильно. Зови понятых. И пошли-ка ты, братец, своего расторопного парня... – Вахрамеев запнулся, вспомнив, что расторопных парней в участке днем с огнем не сыщешь. – В общем, пошли кого-нибудь на Лиговку, в дом Кудрявцева. Там квартирует титулярный советник Загорский из сыскной полиции. Скажи, что Вахрамеев просит пожаловать. Очень просит.

Тот же день, полдень.

Васильевский остров, дом купца Толмачева.

Алексей Петрович Загорский стоял посреди кабинета, заложив руки за спину, и смотрел на то, что осталось от купеческой жизни. Тридцать три года, худощав, с бледным лицом человека, который большую часть времени проводит в четырех стенах – либо за бумагами, либо над книгами. Одет скромно, но с иголочки: темный сюртук, белоснежная сорочка, галстук завязан аккуратным бантом. Только глаза выдают в нем не кабинетного чиновника, а охотника – серые, цепкие, внимательные. Такие глаза не упускают мелочей.

– Здравствуйте, Павел Григорьевич, – кивнул он Вахрамееву, который маячил в дверях, не решаясь войти в комнату, пропахшую гарью и смертью. – Давно не виделись. Жаль, что повод такой.

– Здравствуй, Алексей Петрович, – обрадовался пристав, словно родному. – Уж выручай, братец. Дело дрянь. Сам видишь – пожар, труп. А мне начальство... – Он закатил глаза к потолку, изображая небесную кару.

Загорский не ответил. Он медленно обошел комнату. Заглянул в камин – там, поверх углей, лежал слой плотного серого пепла, перемешанного с остатками кожаного переплета. Нагнулся, понюхал. Горела не только бумага – горела ткань. Сукно. Папка, стало быть.

– Собаку видели? – спросил он, не оборачиваясь.

– Видели, – подал голос околоточный. – Во дворе лежит. Здоровенный кобель, а даже твякнуть не успел.

– Успел. Дворник сказал, что около десяти вечера слышал лай, а потом визг. Значит, убийца вошел в калитку, пес его учуял, бросился, и получил ножом. Быстро, точно. Рука набитая.

Загорский подошел к телу. Толмачев лежал на спине, раскинув руки. Глаза закрыты, лицо спокойное – смерть, видимо, пришла мгновенно. Пулевое ранение в грудь. Входное отверстие маленькое, аккуратное. Пистолет малого калибра. Не разбойничий инструмент.

– Стреляли с трех шагов, – пробормотал Загорский, присаживаясь на корточки. – В упор почти. Убийца не боялся, что купец закричит. Знал, что никто не услышит. Знал расположение комнат. Знал, где спят слуги.

Он поднялся, отряхнул колени.

– Кто знал о чертежах?

Вахрамеев развел руками.

– Да кто ж теперь скажет. Купец был скрытный. Торговля у него шла, но не сказать, чтобы блестяще. А тут – раз, и чертежи. Говорят, англичанину какому-то показывал намеренно. С Балтийского завода.

– Англичанину, – повторил Загорский. – А немецкий чертеж. Любопытно.

Он взял из рук пристава уцелевший клочок. Всмотрелся в линии. Шестеренки, поршни, какие-то клапаны. Не его мир. Он юрист, а не механик. Но одно понял сразу: за этим стоит большая игра. Паровые машины, заводы, подряды, казенные заказы. Там такие деньги, что за них убивают не задумываясь.

– Что в карманах у покойного?

Околоточный оживился:

– Мы уж посмотрели, ваше благородие. Часы серебряные, бумажник с деньгами – тридцать пять рублей ассигнациями, платок, ключи. Кошелек с мелочью. Всё цело.

– Значит, не грабеж, – кивнул Загорский. – Пришли именно за чертежами. Убили, забрали, подожгли стол для отвода глаз. Но один лист упал под стол, и убийца его не заметил. В темноте, видно, не разглядел. Или торопился.

Он подошел к окну. Двор-колодец, высокие стены, арка, ведущая на линию. Дождь. Грязь. Ни одного свидетеля.

– Павел Григорьевич, – обернулся он к приставу. – Мне нужно всё, что есть на этого Штукенберга. Кто такой, где живет, с кем знается. И на англичанина с Балтийского завода – тоже. И список гостей, которые бывали у Толмачева в последнюю неделю. Слуг допросить – строго, с пристрастием. Кто приходил, о чем говорили. Дворника – особенно.

Вахрамеев закивал, записывая что-то в потрепанную записную книжку.

– А сам ты, Алексей Петрович? Куда теперь?

Загорский посмотрел на мокрое небо за окном, на серые стены, на лужу крови, впитывающуюся в паркет.

– А сам я, Павел Григорьевич, поеду к вдове того самого переписчика, у которого Толмачев купил эти чертежи. Потому что если они краденые, то продавец – первая ниточка. А если продавец уже тоже мертв... – Он не договорил, но Вахрамеев понял.

– Дай Бог, чтобы жив, – перекрестился пристав.

– Дай Бог, – эхом отозвался Загорский, запахивая шинель.

Он вышел под дождь. Город встретил его сырым ветром, цоканьем копыт по булыжной мостовой и криком разносчика где-то вдаль: «Пирог горячие! Пирог!» Жизнь продолжалась. И кому-то эта жизнь только что стала стоить очень дорого.

Вот вариант продолжения – сцена в ресторане, где Загорский не только обедает, но и получает неожиданную информацию, которая заставляет его взглянуть на дело иначе. Здесь важна атмосфера, детали эпохи и тот самый "случайный" разговор, который в детektивах часто оказывается ключевым.

## Глава 2. В которой титулярный советник обедает, подслушивает и делает неожиданные выводы.

27 октября 1860 года, день.

Санкт-Петербург, угол Садовой и Невского, ресторация «Золотой якорь».

Дождь к полудню не унялся, но сделался мельче, злее – изморось лезла за воротник, заставляя прохожих вжимать головы в плечи и ускорять шаг. Загорский поймал извозчика у Николаевского моста, назвал адрес на Песках, где жила вдова переписчика, и только тут понял, что с утра во рту не было маковой росинки.

– Стой, любезный, – крикнул он вознице. – Заверни-ка на Садовую, к «Золотому якорю». Перехвачу чего-нибудь, а ты подожди. На чай получишь.

Извозчик, мужик лет сорока в прожженном тулупе, крикнул довольно – в такую погоду постоишь, так хоть согреешься потом на лишний пятак.

«Золотой якорь» был заведением средней руки – не тот трактир, где мастеровые пьют чай из блюдец, и не тот ресторан, где купцы заказывают стерлядь по-русски с хреном. Сюда заходили чиновники средней руки, приказчики из богатых лавок, биржевые маклеры и прочий люд, которому требовалось плотно пообедать, но без излишней роскоши и без лишних глаз.

Загорский толкнул тяжелую дубовую дверь, и его окутало теплом, смешанным с запахами щей, жареного лука, мокрых шинелей и табачного дыма. Половой в белой рубахе навыпуск, с нагловатой физиономией, тут же подскочил:

– Пожалуйте, ваше благородие! У окошка местечко есть, а то вон в уголке, потише...

– У окна, – кивнул Загорский. – И давай чего попроще, но поживее. Щи есть?

– Щи вчерашние, наваристые! – с готовностью отрапортовал половой. – Говядина, каша гречневая, расстегаи с сигом – прямо с пылу с жару.

– Давай щи, расстегай и чаю. Покрепче.

Он сел, снял фуражку, положил на подоконник промокшие перчатки. За стеклом текли струи дождя, размывая очертания Невского, превращая прохожих в серые тени. Загорский машинально провел рукой по внутреннему карману сюртука – клочок чертежа лежал там, завернутый в чистый лист бумаги. Докука, а не улика. Ничего не доказывает, но тянет за собой целый клубок.

Народу в зале было немного. В углу двое приказчиков, судя по говору – из мучных рядов, степенно хлебали щи, изредка перекидываясь словами о ценах на овес. У стойки тоскливо пил чай старичок в потертом сюртуке с засаленными локтями – похоже, отставной чиновник, коротающий время в тепле, потому что дома топить нечем.

Но главный шум доносился из-за соседнего столика, отгороженного фикусом в кадке. Там сидели двое – один, с окладистой рыжей бородой, в купеческом полукафтаны, другой, похудее, в немецком сюртуке, с бакенбардами и очками на носу. Они не то, чтобы кричали, но говорили с жаром, и сквозь шелест дождя и звон посуды до Загорского долетали обрывки фраз.

– ...я тебе говорю, Карл Иваныч, это неспроста! – гудел купец, стуча пальцем по столу. – Ты посмотри, что на бирже творится! Акции «Общества» вчера на три рубля упали, а сегодня утром – хват, и обратно поднялись. Кто-то играет крупно. Очень крупно.

Немец, Карл Иваныч, поправил очки и ответил с акцентом:

– Играть – это одно, Пафнутий Семенович. А слухи – другое. Вы слышали, что говорят про Штукенберга?

Загорский замер, не донеся ложку до рта.

– А что про него говорить? – купец понизил голос, но Загорский, обладавший отличным слухом, разобрал каждое слово. – Инженер как инженер. Мосты строил, теперь с пароходами

возится. Говорят, машину какую-то придумал – угля жрет вполовину меньше. Немцы, они на это горазды.

– Машину он придумал, – согласился Карл Иванович. – Да только чертежи у него... того. Пропали.

– Как пропали? – Купец аж поперхнулся расстегаясь. – Украли, что ли?

– В том-то и дело, что не украли. Вернее, украли, да не у него. Или у него, да не совсем. – Немец загадочно покачал головой. – Я слышал от верных людей, что Штукенберг продал чертежи в одно место, а потом заявил, что их украли. Страховка, понимаете? Деньги и с тех, и с других.

– Ну, жулик, – восхищенно протянул купец. – А кому продал-то?

– А вот это тайна. Говорят, англичанам. А говорят, нашим, только под англичан. Балтийский завод, может быть. Или Нижегородское общество. Там теперь такие деньги ходят, Пафнутий Семенович, что нам с вами и не снились. А за большими деньгами, сами знаете...

Немец выразительно провел пальцем по горлу.

Загорский медленно жевал расстегаясь, переваривая услышанное. Сиг был вкусный, с укропом, но сейчас он не чувствовал вкуса. Мысли крутились вокруг одного: Штукенберг заявил о краже. Толмачев купил чертежи у вдовы переписчика. Если Штукенберг продал их кому-то, а потом заявил о краже – то чертежи, которые купил Толмачев, могли быть копией. Или подделкой. Или теми самыми, которые «украли», чтобы получить страховку.

Но тогда кто убил купца? Тот, кто хотел вернуть чертежи? Или тот, кто хотел их уничтожить?

– А Штукенберг где сейчас? – спросил купец, доедая кашу.

– В городе, говорят. На Лиговке квартирует, у Измайловского моста. Но к нему не подступишься – охрана, прислуга. Бойтся, видно. Или прячется.

– Есть чего бояться, – хмыкнул купец. – С такими делами далеко не уедешь.

Они расплатились и ушли, оставив после себя запах табака и недопитый чай. Загорский проводил их взглядом, допил свой стакан и подозвал пологого.

– Слушай, любезный, – негромко спросил он, протягивая двугривенный. – Кто такие? Часто здесь бывают?

Половой ловко сгрел монету, оглянулся на дверь, зашептал доверительно:

– А, эти-то? Купец – Пафнутий Семенов, мучник, с Садовой. А немец – Карл Иванович Мекке, приказчик из аптекарского магазина, только он теперь не приказчик, а так... вроде маклера мелкого. По биржевым делам шныряет. С кем только не знает, вашбродь. Темный человечек.

– Темный, говоришь? – Загорский усмехнулся. – Ну, спасибо на добром слове.

Он встал, натянул перчатки, нахлобучил фуражку. Выходя, столкнулся в дверях с новым посетителем – господином в дорогом пальто с бобровым воротником, при трости с серебряным набалдашником. Господин мельком глянул на Загорского, скользнул взглядом по его скромному сюртуку и отвернулся с таким видом, будто перед ним пустое место.

Загорский шагнул под дождь, сел в пролетку.

– На Пески, любезный. К Церкви Рождества. Там покажу.

– Эх, барин, далече, – вздохнул извозчик, но лошадь тронул.

Пока ехали, Загорский снова и снова прокручивал в голове услышанное. Штукенберг. Страховка. Англичане. Балтийский завод. Темный человечек Мекке, который знает слишком много. И вдова переписчика, которая сейчас, возможно, даже не подозревает, в какую историю впуталась.

– А может, и подозревает, – пробормотал он себе под нос. – Может, именно поэтому она еще жива.

Дождь хлестал по лицу, но Загорский этого почти не замечал. В голове выстраивалась новая картина, и в ней убитый купец Толмачев был не главным действующим лицом, а всего лишь пешкой. Игра шла крупная. И тот, кто убил, – не остановится.

Извозчик выехал на Садовую, обогнул Гостиный двор и покатил к Пескам. Впереди была встреча с вдовой. И, возможно, с новыми вопросами, на которые нет ответов.

Вот вариант продолжения – визит Загорского к вдове переписчика, где он получает новые улики и сталкивается с неожиданным открытием, которое запускает цепь дальнейших событий.

### **Глава 3. В которой титулярный советник посещает вдову, находит странный предмет и встречает старого знакомого.**

27 октября 1860 года, день.

Санкт-Петербург, Пески, Рождественская улица.

Пески встретили Загорского особой, печальной сыростью. Здесь, вдали от парадных набережных и шумных проспектов, город словно обнажал свою изнанку – деревянные дома в два этажа, покосившиеся заборы, лужи, в которых отражалось серое небо, и редкие прохожие, кутающиеся в обноски. Пролетка остановилась у дома под номером 14 – двухэтажного, каменного внизу, деревянного вверху, с вывеской «Мелочная лавка» на первом этаже и облупившейся штукатуркой на втором.

– Жди здесь, – бросил Загорский извозчику, соскакивая в грязь.

Парадный ход отсутствовал как понятие – вместо него имелась темная арка, ведущая во двор, и крутая лестница на второй этаж, пахнувшая кошками, кислой капустой и сыростью. Загорский поднялся, стараясь не касаться перил – липких, некрашенных, – и остановился перед дверью, обитой рваной клеенкой.

На двери висела медная табличка, когда-то начищенная, а теперь позеленевшая от времени: «Чиновник 14-го класса Н.И. Сухотин».

Переписчик. Мелкая сошка в огромной бюрократической машине империи. Такие сидят в конторах с утра до ночи, перебеливают бумаги, копируют чертежи, получают гроши и умирают от чахотки в сорок лет, оставляя жен и детей без копейки. Нищий люд. Безгласный. Идеальный инструмент для того, кто хочет украсть чертежи, не запачкав рук.

Загорский постучал. Тишина. Он постучал еще раз, громче. За дверью послышалось шарканье, кашель, женский голос спросил сипло:

– Кого там еще несет?

– Откройте, ради бога. Я по делу покойного Николая Ивановича. Не бойтесь, я из полиции.

За дверью повисла пауза. Потом лязгнул засов, звякнула цепочка, и дверь приотворилась ровно настолько, чтобы в щель можно было разглядеть вошедшего. В щели блеснул глаз – молодой, испуганный, но с каким-то странным, лихорадочным блеском.

– Покажите бумаги, – потребовал голос.

Загорский полез во внутренний карман, достал свое удостоверение – зеленую книжечку с двуглавым орлом – и прижал к щели. Рука, худая, с красными от холода пальцами, схватила книжечку, втянула внутрь, дверь захлопнулась. Загорский вздохнул, приготовившись ждать. Но ждать пришлось недолго – через минуту дверь распахнулась, и на пороге возникла женщина.

Она была молода – лет двадцати пяти, не больше, – но выглядела на все тридцать пять. Бледная, худая, в ситцевом платье, заштопанном в дюжине мест, с платком на плечах. Темные волосы выбивались из-под платка нечесаными прядями. Но лицо... лицо было не просто красивым – оно было породистым, тонким, с большими серыми глазами, которые сейчас смотрели на Загорского с таким отчаянием, что у него кольнуло под ложечкой.

– Проходите, – тихо сказала она. – Только тихо. Дети спят.

Загорский шагнул через порог и оказался в комнате, которая совмещала все функции сразу: кухня, столовая, спальня, детская. В углу – железная кровать, на которой под лоскутным одеялом сопели двое маленьких. У окна – стол, заваленный бумагами и посудой. Печка-бур-

жуйка, чуть теплая, потому что дрова, видимо, кончились. Запах нищеты – затхлый, горький, безнадежный.

– Садитесь, – женщина указала на табурет. – Чем обязана? Николай Иванович уже три месяца как в могиле. Что полиции от него нужно?

Загорский присел, снял фуражку, положил на колени.

– Меня зовут Алексей Петрович Загорский. Я из сыскной полиции. Расследую убийство. Убит купец Толмачев. Вы, вероятно, знаете, о ком речь?

Женщина вздрогнула, побледнела еще больше, если это вообще было возможно. Руки ее, до того теревившие край платка, замерли.

– Толмачев? – переспросила она шепотом. – Тот самый, что покупал у Николая бумаги?

– Тот самый. Вы в курсе?

Она опустила на другой табурет, напротив Загорского, и закрыла лицо руками. Плечи ее затряслись – она плакала беззвучно, чтобы не разбудить детей.

– Господи, – выдохнула она сквозь пальцы. – Я знала. Я чувствовала. Николенька мне перед смертью говорил: «Маша, не бери греха на душу. Сожги эти бумаги». А я думала, дети хоть месяц сыты будут. Купец дал сто рублей. Сто рублей, вы понимаете? За какие-то бумажки, которые муж переписывал ночами! Я думала, это счастье. А это...

Она разрыдалась в голос. Загорский сидел, не зная, что делать. Утешать? Не по чину. Молчать? Жестоко. Он достал платок – чистый, накрахмаленный – и молча протянул женщине. Она взяла, вытерла слезы, высморкалась, попыталась взять себя в руки.

– Простите, ваше благородие. Раскисла. Вы спросить пришли? Спрашивайте.

– Для начала представьтесь. Как вас зовут?

– Марья Степановна Сухотина. Вдова коллежского регистратора Сухотина.

– Марья Степановна, расскажите мне всё с самого начала. Как ваш муж получил эти чертежи? Кто ему их дал? И почему он решил их переписывать?

Сухотина шмыгнула носом, поправила платок.

– Муж мой служил в технической конторе при Министерстве путей сообщения. Писцом. Переписывал бумаги для инженеров. Место тихое, не пыльное, но скудное – двадцать рублей в месяц жалованья. А семья, сами видите, растет. Он и подрабатывал по ночам – купцам, заводчикам разным, копии с чертежей снимал. Это не запрещено, коли заказчик свой. – Она помолчала. – Месяца два назад пришел к нему человек. Немец. Предложил работу – скопировать чертежи паровой машины. Муж сначала отказывался – говорит, чертежи сложные, не его ума дело. А немец деньги предложил хорошие. Пятьдесят рублей сразу, еще пятьдесят – когда закончит. Мы тогда с голоду пухли, дети болели... Николай согласился.

– Как звали немца? – быстро спросил Загорский.

– Не знаю. Он имени не называл. Высокий такой, худой, в очках. Говорит по-русски чисто, но с выговором. Одевался хорошо – пальто дорогое, трость с серебром. Николай его боялся, честно скажу. Говорил: «Маша, нелюдь это. Глаза у него пустые, как у рыбы».

Загорский нахмурился. Описание совпадало с тем, что он слышал в ресторане о Мекке. Но и не только – слишком общее.

– Чертежи муж делал долго, недели три. Немец приходил каждый вечер, проверял, указывал. А потом, когда всё закончили, немец забрал и копию, и оригинал. И заплатил обещанные пятьдесят. А через неделю муж заболел. Врач сказал – горячка. А я думаю... – Она запнулась. – Я думаю, отравы. Потому что здоровый был мужик, никогда не жаловался, а тут в одночасье слег и через четыре дня – Богу душу отдал.

Загорский слушал, не перебивая. В голове складывалась картинка: немец заказывает копию чертежей, забирает и оригинал, и копию. Потом переписчик умирает. Потом чертежи – уже копия? оригинал? – всплывают у вдовы, и она продает их Толмачеву. А Толмачева убивают, и чертежи исчезают. Но остается один лист.

– Марья Степановна, а откуда у вас чертежи, которые вы продали Толмачеву? Вы же сказали, немец забрал всё.

Сухотина отвела глаза.

– Я соврала вам, ваше благородие. Простите, Христа ради. Но боялась. Немец тот... он страшный. А вы полиция... Думала, скажу – хуже будет.

– Говорите, как есть, – мягко сказал Загорский. – Я не для того, чтобы вас наказать. Я убийцу ищу.

Она вздохнула глубоко, решилась:

– Муж мой был не дурак. Он понимал, что за чертежи такие деньги платят – значит, дело темное. И когда немец приказал сделать копию, Николай сделал две. Одну – для немца, другую – про запас, у себя оставил. Спрятал под половицу, в чуланчике. Думал, может, пригодится. Не для продажи, а так... на всякий случай. А как помирать начал, позвал меня, велел достать и сжечь. А я... – Она опять заплакала. – Я не сожгла. Думала, детям останется. А потом купец этот нашелся, через знакомых. Сто рублей дал. Я и отдала. И вот теперь...

– Теперь купец убит, – закончил за нее Загорский. – А чертежи пропали. Но один лист остался на месте преступления. Вот этот.

Он достал из кармана обгоревший клочок и протянул женщине. Та взяла дрожащими руками, всмотрелась.

– Да, это оно. Почерк Николая. Я узнаю. Он всегда «р» с хвостиком писал, вот здесь, видите? – Она ткнула пальцем в немецкую подпись под чертежом.

Загорский забрал улику, спрятал обратно.

– Марья Степановна, у вашего мужа не осталось каких-нибудь бумаг, записей? Может быть, имя немца где-то упоминалось? Адрес? Приметы?

Она задумалась, наморщила лоб, потом встрепенулась:

– Постойте! Был у Николая блокнотик. Маленький, сафьяновый. Он туда всё записывал – кто сколько должен, какие заказы, адреса. Я после его смерти нашла, хотела выбросить, да рука не поднялась. В комодке лежит, в белье.

Она встала, подошла к комоду, долго рылась, перебирая ветхие тряпки. Наконец достала маленькую книжечку в потертom кожаном переплете, протянула Загорскому.

– Вот. Только там всё по-немецки. Я не понимаю.

Загорский раскрыл блокнот. Страницы были исписаны мелким, убористым почерком – действительно, по-немецки. Но немецким Загорский владел свободно – мать его была из остзейских немцев, и в доме говорили на двух языках. Он пробежал глазами записи – имена, даты, цифры. И вдруг остановился.

На одной из страниц, ближе к концу, стояла запись, сделанная карандашом, торопливо, словно впопыхах:

\*«Herr Schmidt. Treffen um 9. Moika 43. Vorsicht – gefährlich».\*

«Господин Шмидт. Встреча в 9. Мойка 43. Опасно».

– Мойка 43, – вслух повторил Загорский. – Это же рядом с Исаакием. Дорогой район.

– Что там? – робко спросила Сухотина.

– Адрес, Марья Степановна. Возможно, адрес того самого немца. Или того, с кем он встречался.

Он захлопнул блокнот, сунул в карман.

– Я должен забрать это с собой. Вам оставить расписку?

Она махнула рукой:

– Забирайте. Мне эти бумажки только память о муже, да и ту больную. Лучше скажите, ваше благородие, мне бояться? Тот немец... он узнает, что я с вами говорила?

Загорский посмотрел на нее, на спящих детей, на убогую комнату. И почувствовал, как внутри поднимается холодная злость. На того, кто убивает таких, как Толмачев. На тех, кто

делает нищих вроде Сухотиной своими пешками. На систему, в которой правый всегда проигрывает.

– Знаете, что, Марья Степановна, – сказал он, вставая. – Вам здесь оставаться нельзя. Если тот человек узнает, что вы говорили с полицией... Сами понимаете. Есть у вас родственники в городе?

– Сестра замужем в Коломне, – растерянно ответила вдова. – Но она сама еле концы с концами сводит, трое детей...

– Неважно. Собирайте детей и поезжайте к ней. Прямо сегодня. Я дам денег на извозчика и на первое время. А когда всё кончится, я вас разыщу.

Она смотрела на него с недоверием и надеждой.

– Зачем вам это? Я вам чужая.

– Затем, – жестко ответил Загорский, доставая бумажник, – что вы единственная свидетельница, и, если вас убьют, я не прошу себе этого никогда. Держите. Здесь двадцать пять рублей. Хватит на месяц, если экономно.

Он положил деньги на стол. Сухотина смотрела на них, не веря глазам.

– Господь вас сохрани, – прошептала она. – Как же вас благодарить?

– Лучше благодарите, если останетесь живы. Собирайтесь. Я пришлю за вами извозчика через час. А пока – никому ни слова. Если кто постучит – не открывайте.

Он надел фуражку, шагнул к двери. У порога обернулся:

– Имя вашего мужа, Марья Степановна, я обещаю: оно не будет забыто. Я найду того, кто его убил.

Тот же день, вечер.

Санкт-Петербург, набережная Мойки, дом 43.

Пролетка остановилась напротив трехэтажного особняка в стиле позднего классицизма – с колоннами, лепниной, львиными масками на фронтоне. Здесь жили люди с деньгами. С большими деньгами. Окна первого этажа светились огнями, у подъезда стояла дорогая карета, кучер в ливрее дремал на козлах.

Загорский расплатился с извозчиком, отпустил его – здесь требовалась осторожность, лишние глаза ни к чему. Он прошелся по набережной, делая вид, что любуется видом на Исаакий, который темнел громадой в серых сумерках. Дождь наконец утих, но ветер с Невы дул пронзительный, сырой.

Дом 43. Что здесь? Чья резиденция?

Он подошел поближе, взгляделся в табличку у подъезда. Медная доска гласила: «Дом действительного статского советника П.А. Валуева». Валуев? Тот самый, что недавно назначен управляющим делами Комитета министров? Влиятельный человек. Очень влиятельный.

Загорский присвистнул сквозь зубы. Немец Шмидт встречается с Валуевым? Или Шмидт – сам Валуев под псевдонимом? Или это просто совпадение?

Он стоял на набережной, смотрел на светящиеся окна, и чувствовал, как дело, казавшееся простым убийством купца, обрастает новыми слоями, как луковица. Немцы, англичане, чертежи, министры... Где тут правда?

И тут за его спиной раздался голос – спокойный, насмешливый, с хорошо знакомыми интонациями:

– Ба, ба, ба! Алексей Петрович! Какими судьбами? Вы ли это? Или у меня уже галлюцинации от петербургской сырости?

Загорский резко обернулся. Перед ним стоял человек лет сорока, в дорогой шубе с бобровым воротником, в цилиндре, с тростью с золотым набалдашником. Лицо холеное, с легкой проседью в бакенбардах, глаза умные, чуть прищуренные, с хитринкой.

– Князь! – выдохнул Загорский, не веря своим глазам. – Князь Оболенский? Вы?!

– Он самый, душа моя, он самый. – Князь широко улыбнулся, протягивая руку в лайковой перчатке. – Сколько лет, сколько зим! С самого Крыма не виделись, кажется? Вы тогда поручиком были, а я... Ну, да что вспоминать. Что вы тут делаете в такую погоду? Мерзнете? Любуетесь архитектурой? Или, не приведи господь, по делам службы?

Загорский пожал протянутую руку, лихорадочно соображая. Князь Оболенский – его старый знакомый еще по Севастополю, где Загорский служил в контрразведке, а князь состоял при штабе по особым поручениям. Человек умнейший, хитрейший, с связями во всех слоях общества – от великих князей до извозчиков. После войны они потерялись из виду. И вот – встреча. На Мойке, у дома Валужева.

– Дела, князь, – осторожно ответил Загорский. – Служба. А вы? Неужели здесь живете?

– Я? Бог миловал. – Князь засмеялся. – Моя берлога на Английской набережной. А сюда я к старому приятелю заглянул, Петру Александровичу. По одному щекотливому дельцу. – Он вдруг прищурился еще сильнее. – А вы, стало быть, тоже к нему? Или мимо шли?

Загорский понял, что промедление смерти подобно. Князь Оболенский был тем человеком, который всегда знает больше, чем говорит. И если он здесь, значит, знает что-то о чертежах. Или о Шмидте. Или об убийстве.

– Я, князь, по делу об убийстве купца Толмачева, – решил он сказать правду. – Ищу одного человека. Немца. Который, возможно, бывает в этом доме.

Оболенский поднял бровь.

– Немца? В доме Валужева? Голубчик, там каждый день толпа народу – немцы, французы, англичане... Вы поточнее? Имя, приметы?

– Шмидт. Или псевдоним. Высокий, худой, в очках. Глаза... нехорошие.

Князь задумался на секунду, потом щелкнул пальцами:

– Ах, вот вы о ком! Тот, что с Балтийским заводом якшается? Ну да, видел я его. Два раза. Проныра еще тот. Только, голубчик, – он понизил голос, приблизившись к Загорскому, – вы с ним поосторожнее. Он не простой немец. Он из тех, кто никому не служит, кроме себя. И, говорят, на очень высоких людей работает. Очень высоких.

– На кого, князь?

Оболенский оглянулся по сторонам, словно проверяя, нет ли лишних ушей. Потом шепнул:

– На тех, кто выше министров. Вы меня поняли? Выше. А теперь прощайте, Алексей Петрович. Рад был встрече. Заходите как-нибудь на чашку чая – потолкуем о старом. А сегодня я вас не видел. И вы меня не видели. Договорились?

Не дожидаясь ответа, князь поднял воротник шубы, кивнул и быстро зашагал вдоль набережной к своей карете. Через минуту карета тронулась и скрылась за углом.

Загорский остался один. Ветер с Невы дул все сильнее. В окнах дома 43 горел свет. Где-то там, за этими окнами, возможно, сидел убийца. Или тот, кто знал убийцу. Или тот, кто был выше министров.

– Черт знает что, – пробормотал Загорский, запахивая шинель. – В какие дебри я вляпался?

Он еще раз взглянул на дом и медленно пошел прочь, в сторону Конногвардейского бульвара. В голове гудело от мыслей: вдова Сухотина, немец Шмидт, князь Оболенский, дом Валужева, чертежи, убийство... И над всем этим – тень кого-то очень высокого, выше министров.

– Завтра, – решил он. – Завтра начну с Балтийского завода. И с англичанина, которому Толмачев показывал чертежи. А пока – спать. Иначе голова лопнет.

Ночь опускалась на Петербург сырая, холодная, полная тайн. И где-то в этой ночи бродил убийца с пустыми глазами, который уже убрал одного свидетеля и, возможно, готовился убрать следующего.

Вот вариант продолжения – ретроспективная глава, которая раскрывает прошлое Загорского, его путь к должности титулярного советника, его семью, потери и мотивы. Это позволит читателю глубже понять героя и его внутренний мир.

## Глава 4. В которой титулярный советник вспоминает прошлое и находит в нем ключ к настоящему.

27 октября 1860 года, поздний вечер.

Санкт-Петербург, Лиговка, дом Кудрявцева, квартира 12.

Загорский вернулся домой за полночь. Ноги гудели от ходьбы, шинель промокла насквозь, а в голове гудел целый улей мыслей. Он поднялся на второй этаж, отпер дверь своим ключом и шагнул в прихожую, где его встретил привычный запах – старых книг, воска и почему-то яблок. Яблоки приносила дворничиха, добрая душа, знавшая, что барин любит антоновку для бодрости.

В квартире было темно и тихо. Загорский зажег свечу, прошел в кабинет, бросил фуражку на кресло, шинель повесил на вешалку – сушиться. Потом налил из графина воды, выпил залпом и сел за стол, уставившись в одну точку.

Князь Оболенский. Эта встреча выбила его из колеи больше, чем убийство Толмачева. Потому что князь был из другой жизни – из той, которая кончилась пять лет назад, когда Загорский оставил военную службу и вернулся в Петербург разоренный, больной и одинокий.

Он зажег лампу, достал из ящика стола папиросы – привычка, оставшаяся с Крымской кампании, – закурил, глядя на пляшущий огонек. И память понесла его назад, в те годы, когда он был не титулярным советником, а поручиком, и жизнь казалась простой и ясной, как штык.

1853 год, декабрь.

Санкт-Петербург, Михайловский дворец.

Алексею Загорскому шел двадцать седьмой год, когда началась Восточная война. Он служил в лейб-гвардии Семеновском полку, был молод, красив, хорошо сложен, имел небольшое состояние и огромные перспективы. Отец его, Петр Ильич Загорский, происходил из старинного, но обедневшего дворянского рода, однако сумел выправить положение удачной женитьбой.

Мать Алексея, Елена Карловна, была дочерью обрусевшего немецкого барона фон Клейста – человека ученого, библиофила, владельца огромной библиотеки и небольшого имения под Дерптом. От матери Алексей унаследовал светлые глаза, спокойный нрав и любовь к книгам. От отца – упрямство, чувство долга и ту особенную петербургскую статью, которая позволяла ему держаться ровно с любым, будь то император или дворник.

В том декабре 1853-го они собирались у родителей на Рождество. Большой дом на Гороховой, елка, гости, матушкины пироги с капустой, отец с бокалом шампанского провозглашает тост за победу русского оружия. Война только начиналась, и никто не знал, чем она кончится.

– Алеша, – говорила мать, поправляя ему галстук перед балом, – будь осторожен. Эти турки... Бог с ними. Ты у меня один.

– Маменька, полноте, – смеялся он. – Я в гвардии, меня не пошлют дальше Царского Села.

Он ошибся.

1854 год, осень.

Севастополь, Малахов курган.

Война пришла неожиданно, как всегда и бывает. Весной 1854-го гвардию двинули на юг, и через три месяца Алексей Загорский, поручик Семеновского полка, стоял по колено в грязи под Севастополем, слушал, как ухают английские бомбы, и пытался понять, куда исчез тот блестящий Петербург с балами и елками.

Он воевал честно. Не храбро – храбрых там хватало, и многие из них уже лежали в братских могилах, – а именно честно. Делал свое дело, не прятался за спины, не искал теплых мест.

В октябре, при первой бомбардировке, его контузило, но он остался в строю. В ноябре ходил в штыковую на англичан и вышел живым, потеряв полроты.

А в декабре его вызвал к себе начальник штаба.

– Загорский, – сказал генерал, глядя усталыми глазами на карту, – вы знаете языки? Немецкий, французский, английский?

– Так точно, ваше превосходительство. Матушка учила с детства.

– Отлично. Вы откомандировываетесь в распоряжение контрразведки. Там нужны люди с головой и языком. Хватит вам под пулями стоять – и так уже контуженный. Будете ловить шпионов.

Так Алексей попал в ту структуру, о которой не принято было говорить вслух. Маленький отдел при штабе, где служили такие же, как он, – образованные дворяне, владеющие языками, умеющие думать и молчать. Там он и встретил князя Оболенского.

Князь был старше на десять лет, из той знати, что ближе к трону, чем к окопам. Но в отличие от многих, он не отсиживался в тылу, а мотался по передовой, собирал сведения, плел интриги, ловил вражеских лазутчиков. Он быстро разглядел в молодом поручике толк.

– У вас, Загорский, – говорил он, попыхивая сигарой в прокуренной землянке, – нюх. Как у легавой. И главное – вы не лезете на рожон. Вы думаете. Это редкость. Оставайтесь с нами, война кончится – пригодитесь в столице.

Но война кончилась не скоро. И когда она кончилась, Загорскому уже не хотелось возвращаться в столицу.

1856 год, весна.

Петербург, Гороховая улица.

Он вернулся домой в марте, через месяц после подписания мира. Вернулся не один – с ним ехало известие, которое он вез как камень на груди.

Отец встретил его на пороге. Петр Ильич постарел лет на десять – осунулся, сгорбил, волосы совсем побелели.

– Алеша, – сказал он тихо, обнимая сына. – Матушка не дождалась. В феврале... сердце. Она всё ждала тебя, всё смотрела в окно. А в тот день вышла на мороз без платка, простудилась, и в неделю...

Алексей молчал. Он стоял посреди прихожей, где еще пахло матерью – ее духами, ее пирогами, ее теплом, – и чувствовал, как внутри что-то обрывается. Он не успел. Он ловил шпионов, пока она умирала. Он думал, что война – главное, а оказалось, что главное было здесь, и он это потерял.

Мать похоронили на Смоленском кладбище, рядом с дедом-бароном. Алексей поставил простой гранитный камень и долго стоял под дождем, глядя на мокрую землю.

– Я найду тебя, маменька, – сказал он тихо. – Я еще не знаю как, но найду. Ты будешь мной гордиться.

Он не знал тогда, что эти слова станут его судьбой.

1856 год, лето.

Петербург, Департамент полиции.

Отец умер через полгода после матери – тихо, во сне, от разрыва сердца. Врач сказал: не выдержало сердце потерь. Алексей остался один. Имение пришлось продать за долги – отец в последние годы запустил дела, лечился, тратил на докторов. Осталась только небольшая сумма да матушкина библиотека, которую Алексей перевез к себе на Лиговку.

Надо было служить. В гвардию он не вернулся – форма после Крыма стала ненавистна. Друзья звали в министерства, сулили протекцию. Но Алексей выбрал другое.

В Департаменте полиции его встретили с недоумением. Бывший гвардейский офицер, с боевым опытом, знающий языки, – и просится в сыскную часть? Это же мелочи: кражи, убийства, мошенничества. Не дворянское дело.

Но Алексей настоял.

– Я хочу искать правду, – сказал он директору. – Не на поле боя, а здесь. Люди убивают друг друга не только на войне. И часто хуже, чем на войне.

Директор пожал плечами и подписал назначение. Так Алексей Петрович Загорский стал чиновником для особых поручений при сысской полиции – титулярным советником, девятый класс по Табели о рангах. Недворянский чин, но с правом на личное дворянство. Жалованье небольшое, работы много, а благодарности – еще меньше.

Но Загорский не жаловался. Он нашел свое место.

1857 год, зима.

Петербург, Лиговка, дом Кудрявцева.

Квартиру на Лиговке он снял случайно – подвернулась дешево, потому что хозяйка, вдова коллежского асессора, боялась жить одна в большом помещении и искала жильца солидного, не пьющего, из благородных. Загорский подходил идеально.

Две комнаты, кухня, прихожая. Мебель старая, но крепкая. Из окон виден двор-колодец, где вечно суетятся дворники, извозчики и мастеровые. Шумно, грязно, но близко к центру и до участка недалеко.

Здесь он обставил свой быт. В большой комнате поставил матушкин секретер красного дерева, развесил по стенам книги – целая библиотека перекочевала с Гороховой, – повесил портрет отца в мундире и акварель матери, написанную еще в сороковых годах. Маленькая гостиная превратилась в кабинет, где он принимал посетителей и писал рапорты.

Здесь же, в этой квартире, он пережил свое первое большое расследование – дело об убийстве ростовщика на Песках. Тогда он нашел убийцу за три дня, хотя вся полиция билась две недели. С тех пор к нему стали обращаться за помощью коллеги. А потом и начальство поняло, что титулярный советник Загорский – это не просто чиновник, а настоящий талант.

1858 год, весна.

Петербург, Знаменская площадь.

Друзей у Загорского было немного, но те, что были, – настоящие.

Самым близким оставался Иван Ильич Черепанов, его однополчанин, тоже семеновец, тоже прошедший Крым. Черепанов вышел в отставку подполковником, женился, завел детей и теперь служил в Министерстве внутренних дел, в канцелярии. Они виделись редко – Иван был семейный, загруженный, – но раз в месяц обязательно встречались в трактире «Москва» на Знаменской, пили чай с ромом и вспоминали войну.

– Ты бы тоже женился, Леша, – говорил Черепанов, раскуривая трубку. – Чего мыкаешься один? Вон, девушки какие вокруг, только руку протяни.

– Не могу, Ваня, – качал головой Загорский. – У меня душа не на месте. Я каждый день вижу такое... Нельзя с этим к женщине приходиться. Это как заразу принести.

– Ну, как знаешь. А только один ты пропадешь. Человеку нужен дом, а не квартира.

Загорский молчал. Он и сам это знал. Но пока не встречал ту, с которой можно было бы разделить эту тяжесть. Да и кто пойдет за титулярного советника с грошовым жалованьем и вечно мокрой шинелью?

Еще был старик Пал Палыч, отставной квартальный надзиратель, который теперь служил сторожем в архиве полиции. Загорский иногда заходил к нему порыться в старых делах – Пал Палыч знал всё и всех, помнил преступления двадцатилетней давности, хранил в голове целую картотеку петербургских мошенников. Он же познакомил Загорского с мелкими торговцами с Сенного рынка, с извозчиками, с дворниками – теми, кто видел всё, но молчал за деньги. Информаторы Загорского, его глаза и уши в городе.

– Ты, барин, главное – не лезь на рожон, – учил Пал Палыч, жуя баранку. – Убивец он и есть убивец. Поймаешь – молодец. А себя береги. Ты один, на тебя надежда.

Надежда. Странное слово для полицейского. Но Загорский действительно чувствовал, что многие – вдовы, сироты, обманутые – смотрят на него как на последнюю инстанцию. И не мог их обмануть.

1860 год, октябрь.

Настоящее время, ночь на Лиговке.

Загорский затушил папиросу, потер виски. Воспоминания вымотали больше, чем ходьба по городу. Мать, отец, Севастополь, Черепанов, Пал Палыч... И среди всего этого – убитый купец, переписчик, умерший от «горячки», и немец с пустыми глазами, который, возможно, сидит сейчас в доме на Мойке и пьет чай с действительным статским советником.

Он встал, подошел к окну. За мутным стеклом чернел двор, светились редкие окна в доме напротив. Где-то лаяла собака. Город жил своей ночной жизнью, полной грехов и тайн.

– Что бы ты сказала, маменька? – тихо спросил он в пустоту. – Похвалила бы или велела бросить?

Портрет матери на стене молчал. Она смотрела на него с акварели своими светлыми глазами, и в этом взгляде было всё – и любовь, и тревога, и вера.

Загорский вздохнул, подошел к секретеру, открыл ящик. Там, под кипой бумаг, лежал дагерротип – маленький, в потертom футляре. На снимке – он сам, молодой, в гвардейском мундире, и она, невеста. Машенька Головина, дочь соседей по имению. Они были помолвлены весной 1853-го. Свадьбу назначили на осень. А осенью началась война, и Машенька, не дождавшись, вышла замуж за другого – за богатого вдовца, статского советника, уехала в Москву и пропала из его жизни.

Загорский закрыл футляр и убрал обратно. Эту боль он носил в себе молча, никому не показывая. Но иногда, в такие ночи, она поднималась из глубины и щемила сердце.

– Ладно, – сказал он решительно. – Будет ныть. Завтра на Балтийский завод. А сегодня – спать.

Он погасил лампу, прошел в спальню, разделся и лег на жесткую кровать, глядя в потолок. Мысли путались, перед глазами мелькали лица: Сухотина с ее отчаянными глазами, князь Оболенский с хитрой улыбкой, немец-убийца, которого он еще не видел, но уже ненавидел.

– Я найду тебя, – пообещал он неизвестному врагу. – Чего бы мне это ни стоило.

За окном зашумел дождь – снова, как вчера, как всегда, в этом городе. Загорский закрыл глаза и провалился в сон без сновидений – тяжелый, как сама петербургская ночь.

28 октября 1860 года, утро.

Санкт-Петербург, Балтийский завод.

Утро встретило его туманом – густым, молочным, стелющимся по Неве. Загорский вышел из дома затемно, нанял извозчика и поехал на Васильевский остров, где за Косой линией дымили трубы Балтийского завода.

Завод гудел, как огромный улей. Стучали молоты, шипел пар, сновали рабочие в промасленных робах. У проходной его встретил приставленный начальством смотритель – маленький юркий человечек с бакенбардами.

– Вам кого, ваше благородие? – залебезил он. – Англичанина? Мистера Томпсона? Как же, как же, знаем. Пожалуйста за мной, только осторожнее, тут у нас...

Они прошли через двор, заваленный железом и углем, мимо огромных цехов, откуда вырывался горячий воздух. В конторке при заводууправлении их ждал мистер Томпсон – плотный рыжеватый мужчина лет сорока, с бакенбардами и умными глазами, в хорошем сюртуке, но с руками, испачканными машинным маслом.

– Мистер Томпсон? – Загорский предъявил удостоверение. – Позвольте задать вам несколько вопросов.

Англичанин нахмурился, но кивнул:

– Прошу. Только быстро. У меня обеденный перерыв.

– Вы знакомы с купцом Толмачевым?

Томпсон поморщился, словно от зубной боли.

– Был знаком. Слышал, его убили. Мне очень жаль.

– Вы встречались с ним на днях. Он показывал вам чертежи паровой машины.

Англичанин помолчал, потом ответил осторожно:

– Показывал. Сказал, что хочет предложить их нашему заводу. Я посмотрел и сказал, что это не наш профиль. Мы строим военные суда, а не речные пароходы.

– И всё?

– И всё. Я даже не запомнил деталей. Какая-то машина Штукенберга. Слышал, у него украли чертежи. Я посоветовал Толмачеву быть осторожнее – краденое добром не кончается.

Загорский внимательно смотрел на англичанина. Тот держался ровно, но в глазах мелькнуло что-то – страх? ложь? – и тут же исчезло.

– Мистер Томпсон, вы знаете немца по имени Шмидт? Или Мекке? Высокий, в очках?

Англичанин покачал головой:

– Не имею чести. В нашем деле много немцев, но с такими именами не сталкивался.

Он врал. Загорский чувствовал это кожей. Но доказательств не было.

– Благодарю, – сухо сказал он. – Если вспомните что-то важное, сообщите в полицию.

– Непременно, – кивнул Томпсон, и в его глазах мелькнуло облегчение.

Загорский вышел из конторки, прошел через заводской двор и остановился у ворот, глядя на Неву, затянутую туманом. Англичанин врет. Но зачем? И кому служит?

Он уже собрался уходить, когда к нему подбежал мальчишка – чумазый, в рваной куртке, один из тех, кто крутится при заводе на побегушках.

– Барин! – зашептал он, озираясь. – Барин, вы из полиции? Мне дядька велел передать. Только чтоб никто не видел.

Он сунул Загорскому в руку скомканную бумажку и тут же исчез в толпе рабочих.

Загорский развернул записку. Крупными корявыми буквами, явно писавшими человеком неграмотным, было выведено:

«Тот англичан с немцем выдает. На Сенной, в трактире «Утюг». По вечерам. Спросите Гришку-полового, он знает».

Загорский спрятал записку в карман. Сердце забилось чаще. Ниточка тянулась дальше.

– На Сенную, – сказал он извозчику, садясь в пролетку. – К трактиру «Утюг». Да поживее, любезный.

Туман над Невой редел, открывая серое небо. Новый день начинался, и он обещал быть долгим.

Вот вариант параллельной сюжетной линии, которая не пересекается с Загорским напрямую, но создает более объемную картину происходящего и вводит новых персонажей, чьи пути в будущем могут (или не могут) пересечься с главным героем.

## Глава 5. В которой молодая вдова получает странное письмо, а старый ростовщик вспоминает прошлое.

28 октября 1860 года, утро.

Санкт-Петербург, Коломна, Екатерингофский проспект.

В то самое утро, когда Загорский трясся в пролетке к Сенной, в другой части города просыпалась женщина, которая еще не знала, что ее жизнь уже переплелась с его расследованием – тонкой, почти невидимой нитью.

Анна Григорьевна Вересова открыла глаза и долго лежала неподвижно, глядя в потолок. Ей было двадцать три года, и вот уже полгода она просыпалась одна в большой пустой квартире, которую когда-то снимал для них муж.

Петр Иванович Вересов, коллежский советник, начальник отделения в Департаменте путей сообщения, умер в мае – скоропостижно, за обедом, схватился за сердце и через минуты его не стало. Врач сказал: разрыв аорты. Анна осталась одна с дочерью пяти лет и с небольшим пенсионом, которого едва хватало на квартиру и прислугу.

Надо было что-то решать. Ехать к родственникам в Тверь? Но там тетка, старая дева, которая ее терпеть не может. Искать место? Куда возьмут вдову с ребенком без связей? Продавать вещи? Но вещей осталось немного – муж был честен и состояния не нажил.

Анна вздохнула, встала, накинула пеньюар и подошла к окну. Екатерингофский проспект просыпался: извозчики, мастеровые, кухарки, бегущие на рынок. Обычный петербургский день – серый, сырой, безнадежный.

– Маменька! – раздалось из детской. – Маменька, вставайте! Кашку хочу!

Она улыбнулась – впервые за утро. Лиза, ее солнышко, ее единственная радость. Анна пошла в детскую, помогла няньке одеть девочку, поцеловала в пухлую щечку и отправилась на кухню ставить самовар.

День начинался обычно. Но только начинался.

Тот же день, полдень.

Коломна, квартира Вересовой.

Письмо принес рассыльный ровно в двенадцать – Анна слышала, как в прихожей скрипнула дверь, потом зашаркали шаги кухарки, и через минуту Матрена внесла в гостиную конверт на серебряном подносе (этот поднос остался от мужа, и Анна свято блюла ритуал).

– Барыня, вам письмо. С гербом.

Анна взяла конверт, повертела в руках. Герб был незнакомый – какой-то лев с мечом, корона сверху. Бумага плотная, дорогая. Такие письма муж получал от важных лиц.

Она вскрыла конверт дрожащими пальцами. Внутри оказался лист тонкого веленового пергамента, исписанный каллиграфическим почерком – четким, немецким, без единой помарки.

«Милостивая государыня Анна Григорьевна!

Имею честь обратиться к Вам по делу, касающемуся памяти Вашего покойного супруга, Петра Ивановича. Известно мне, что в последние месяцы перед кончиной он занимался разбором некоторых бумаг, имеющих отношение к технической части Министерства путей сообщения. Среди них могли оказаться документы, касающиеся паровых машин системы инженера Штукенберга.

Если таковые бумаги сохранились у Вас, покорнейше прошу Вас принять меня для беседы. Дело это важное и не терпящее огласки. За беспокойство готов предложить вознаграждение в размере, который Вы сами соизволите назначить.

С глубочайшим почтением, готовый к услугам,

Барон фон Клейст.

P.S. Если согласны на встречу, вывесьте завтра утром белую ленту на ручке парадной двери. Человек мой подойдет и назначит время и место».

Анна перечитала письмо три раза. Барон фон Клейст? Она никогда не слышала этой фамилии. Муж никогда не упоминал никакого барона. И бумаги... какие бумаги? После смерти Петра Ивановича она разобрала его стол, но ничего не нашла, кроме старых счетов и служебных записок, которые велела сжечь, чтобы не захламлять квартиру.

Но почему этот барон пишет именно ей? И откуда он знает, что муж мог иметь дело с чертежами Штукенберга?

Она задумалась. Имя Штукенберга было ей смутно знакомо – кажется, муж как-то упоминал этого инженера за ужином. Что-то про паровые машины, про большие деньги, про то, что «немцы скоро весь флот наш переделают». Она тогда не слушала – думала о своем, о хозяйстве.

– Матрена! – позвала она. – Матрена, поди сюда.

Кухарка явилась немедленно – барыня была строгая, хоть и добрая.

– Слушай, Матрена. Ты помнишь, после смерти Петра Ивановича мы разбирали его стол? Куда делись все бумаги?

– Так вы ж велели сжечь, барыня, – удивилась Матрена. – Я сама в печке и сожгла. А что?

– А не осталось чего? Может, в ящиках, в комодке?

– Не, барыня, всё выкинули. Только старые счета да письма от родственников. Я их в коробку сложила, на антресолях. Хотите, принесу?

– Принеси.

Матрена принесла запыленную картонную коробку. Анна долго рылась в ней, перебирая пожелтевшие бумаги, старые фотографии, счета из магазинов. И вдруг на дне, под ворохом ненужных квитанций, наткнулась на плотный конверт из коричневой крафтовой бумаги, запечатанный сургучной печатью.

На конверте было написано: «Весьма важное. Вскрыть только в случае моей смерти. П. Вересов».

У Анны перехватило дыхание. Она сломала печать дрожащими руками. Внутри оказались три листа, исписанные мужниным почерком – мелким, аккуратным, чиновничьим.

«Дорогая Аннушка!

Если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет в живых, и, вероятно, смерть моя была не совсем естественной. Я должен тебе рассказать то, о чем боялся говорить при жизни, чтобы не подвергать тебя и Лизу опасности.

Месяц назад ко мне обратились люди из Министерства с предложением заняться одним деликатным делом. В Департамент поступили сведения, что инженер Штукенберг, работающий над важным казенным заказом, замешан в махинациях с чертежами. Якобы он продал один и тот же проект дважды – частным лицам и казне, а потом заявил о краже, чтобы получить страховку.

Мне поручили тайно проверить эти сведения. Я нашел переписчика, некоего Сухотина, который делал для Штукенберга копии чертежей. Сухотин был напуган, сказал, что за ним следят, что немец, который приходил за чертежами, – опасный человек. Через неделю Сухотин умер от "горячки". Я не верю в случайности.

Я продолжил расследование сам. Мне удалось выяснить, что чертежи куплены неким купцом Толмачевым, который собирается перепродать их англичанам на Балтийский завод. Но это только верхушка. Настоящий заказчик – человек очень высокого ранга, связанный с придворными кругами. Имени его я пока не знаю, но подозреваю, что это кто-то из окружения великих князей.

Аннушка, если со мной что-то случится, ни в коем случае не ищи правды сама. Это слишком опасно. Но передай это письмо тому, кому можно доверять. Например, моему старому другу, князю Оболенскому. Он знает, как поступать в таких делах.

Прости меня, родная, что впутал тебя в это. Береги Лизу. Люблю Вас обеих больше жизни.

Твой Петр».

Анна дочитала письмо и долго сидела неподвижно, чувствуя, как холод ползет по спине. Муж знал. Он знал, что его могут убить. И его убили. Не разрыв аорты – отравы? Удар? Она вспомнила тот день – он пришел со службы бледный, жаловался на сердце, а через час его не стало.

Врач тогда сказал: «Разрыв. В его возрасте бывает». Она поверила. А теперь...

– Матрена! – крикнула она чужим голосом. – Матрена, ко мне!

Кухарка вбежала, увидела бледную барыню с письмом в руках, перепугалась:

– Что, барыня? Что случилось?

– Этот барон... который письмо прислал... Ты его знаешь? Видела когда-нибудь?

– Барона-то? – Матрена задумалась. – Нет, барыня, не видала. А что?

Анна посмотрела на письмо барона, потом на письмо мужа. Две бумаги – одна зовет на встречу, другая предупреждает об опасности. Совпадение? Или ловушка?

Барон фон Клейст. Та же фамилия, что у матери того сыщика, о котором говорили в полиции? Анна слышала краем уха – у нее были знакомые в департаменте, которые иногда делились сплетнями. Загорский, титулярный советник, у него мать из Клейстов. Неужели родственник?

Мысли путались. Надо было решать: вывешивать ленту или нет? Идти на встречу или сжечь оба письма и забыть?

Она взглянула на часы – половина первого. До завтрашнего утра есть время подумать.

– Матрена, – сказала она тихо. – Приготовь обед. И никому ни слова о письмах. Поняла?

– Поняла, барыня. А ленту?

– Ленту... я потом решу.

Она ушла в спальню, заперлась и долго сидела на кровати, глядя в стену. А за стеной, в детской, звонко смеялась Лиза, не ведая, что судьба матери висит на волоске.

Тот же день, вечер.

Санкт-Петербург, Сенная площадь, трактир «Утюг».

Пока Анна Вересова решала свою судьбу, на другом конце города, в самом грязном и шумном месте Петербурга, разворачивалась совсем иная история.

Сенная площадь к вечеру наполнялась особым, густым, как патока, народом. Торговки сворачивали лотки с калачами, мастеровые тащились с работы в свои углы, нищие выползали из подворотен, а в трактирах закипала ночная жизнь – с пьяными драками, картами и темными сделками.

«Утюг» стоял в глубине двора, за мясными рядами, – низкое каменное здание с тусклыми окнами и вывеской, на которой когда-то был нарисован утюг, а теперь осталось только ржавое пятно. Сюда заходил тот, кому не место в приличных заведениях: беглые, воры, мелкие жулики и те, кто искал дешевых острых ощущений.

В трактире было накурено так, что глаза слезились. Горели керосиновые лампы, пахло щами, дешевым табаком и потом. За стойкой возвышался целовальник – огромный мужик с разбитым носом, бывший кулачный боец.

Загорский вошел, огляделся. Его чистый сюртук, фуражка с кокардой и бледное лицо сразу привлекли внимание. Несколько голов повернулось в его сторону, но тут же отвернулось – полицейские здесь бывали редко, а если бывали, то не одни, а с понятыми.

– Гришку мне, – сказал Загорский целовальнику, кладя на стойку полтинник.

Целовальник глянул на монету, на лицо посетителя, крякнул и кивнул в угол:

– Вон он, за третьим столом. Только вы потише, ваше благородие. У нас народ нервный.

Гришка оказался парнем лет двадцати, худым, вертлявым, с бегающими глазками и вечно улыбающейся физиономией. Он подскочил к Загорскому, едва тот сел за свободный столик.

– Чего изволите, барин? Пивка? Чайку? Может, закусить?

– Сядь, – тихо сказал Загорский. – И слушай.

Гришка сел, но глазками продолжал стрелять по сторонам.

– Ты Гришка-половой?

– Он самый.

– Мне сказали, ты знаешь одного англичанина, который с немцем встречается. Здесь, в «Утюге».

Гришка замер, улыбка сползла с лица.

– А вы, простите, кто будете? Из полиции, что ли?

– Из полиции. Не бойся, ты не в деле. Мне нужен тот немец. Расскажешь – получишь еще.

Он положил на стол еще полтинник. Гришка сглотнул, оглянулся, зашептал:

– Есть такой. Англичанин, мистер Томпсон, с Балтийского завода. А немец... немец страшный, барин. Я таких не видал. Высокий, худой, в очках, и глаза... пустые, как у покойника. Он сюда два раза приходил, всегда поздно. С англичанином сидели вон в том углу, под лестницей, чтобы никто не видал. О чем говорили – не слышал, они по-своему лопотали.

– По-немецки?

– По-английски, кажись. И по-немецки тоже. Мешали.

– А имя? Имя немца знаешь?

Гришка замялся:

– Один раз назвал его англичанин. Я краем уха услышал. Шмидт, кажись. Или Шмит.

Точно не скажу.

Шмидт. Опять Шмидт.

– Когда они встречаются?

– Да кто ж их знает. Томпсон приходит, когда с завода освободится. А немец... немец не приходит, он является. Как тень. Я его боюсь, барин. Вы уж меня не впутывайте.

– Не впутаю, – пообещал Загорский. – Но, если увидишь его снова, дай знать. Вот адрес.

Он написал на клочке бумаги свой адрес и придвинул Гришке. Тот спрятал записку за пазуху, схватил полтинник и исчез, как будто его и не было.

Загорский посидел еще немного, допил чай – жидкий, с привкусом мыла – и вышел на улицу. Вечер опускался на Сенную сырой, вонючий, темный. Где-то дрались пьяные, где-то пели песни, где-то плакал ребенок.

Он шел к пролетке и думал о том, что ниточка тянется все дальше. Томпсон врет, что не знает Шмидта. Они встречаются в трактире для воров и жуликов. Значит, дело нечистое. Но что связывает инженера-англичанина с таинственным немцем? И где здесь чертежи?

Он уже сел в пролетку, когда из темноты вынырнула фигура – маленькая, юркая, в рваном армяке.

– Барин! – зашептал чей-то голос. – Барин, вы того... осторожней. Вас тут спрашивали.

– Кто спрашивал?

– Давеча, час назад. Человек приходил, на вид приличный, в пальто. Спрашивал, не видали ли мы полицейского, который про немца выспрашивает. Мы сказали – не видали. А он не поверил, видать. Вон там, под аркой, стоит. Смотрите.

Загорский резко обернулся. В темноте подворотни, у мясных рядов, действительно мелькнула тень – высокая, худая. И исчезла.

Сердце забилось чаще. За ним следят? Уже?

Он рванул в ту сторону, но под аркой было пусто. Только ветер гонял мусор да где-то далеко стучали шаги, быстро удаляясь.

– Ушел, – выдохнул Загорский. – Черт.

Он вернулся к пролетке, сел, приказал ехать на Лиговку. Всю дорогу оглядывался – не следят ли. Но улицы были пусты, только дождь начинал капать снова.

Дома он запер дверь на все замки, достал револьвер – старый, еще крымский, – положил на стол. И долго сидел в темноте, глядя на огонек лампы.

– Кто ты, Шмидт? – спросил он вслух. – И чего ты боишься?

Ответа не было. Только дождь стучал по стеклу, как вчера, как всегда, как всю эту бесконечную петербургскую осень.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.